

И.А. Бунин

Автобиографическая заметка

< ... > Я родился 10 октября 1870 года. Отца моего звали Алексеем Николаевичем, мать — Людмилой Александровной (в девичестве Чубаровой).

О роде Буниных я кое-что знаю. Род этот дал замечательную женщину начала прошлого века, поэтессу А.П. Бунину, и поэта В.А. Жуковского (незаконного сына А.И. Бунина); в некотором родстве мы с братьями Киреевскими, Гротами, Юшковыми, Воейковыми, Булгаковыми, Соймоновыми; о начале нашем в «Гербовнике дворянских родов» сказано, между прочим, следующее: «Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV в. из Польши к великому князю Василию Васильевичу.

Правнук его Александр Лаврентьев сын Бунин Служил по Владимиру и убит под Казанью. Стольник Козьма Леонтьев Бунин жалован за службу и храбрость на поместья грамотой. Равным образом и другие многие Бунины служили воеводами и в иных чинах владели деревнями. Все сие доказывается бумагами Воронежского дворянского депутатского собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу в VI часть, в число древнего дворянства ...».

Род (тоже древнедворянский) Чубаровых мне почти неведом. Знаю только, что Чубаровы — дворяне Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что были у деда и у отца матери имения в Орловском и Трубчевском уездах. Да и сами Чубаровы знали о себе, вероятно, не больше: с полным пренебрежением к сохранению свидетельств о родовых связях жили наши дворяне. Я же чуть не с отрочества был «вольнодумец», вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею: исключительно поэтическими были мои юношеские, да и позднейшие «дворянские элегии», которых, кстати сказать, у меня гораздо меньше, чем видели некоторые мои критики, часто находившие черты личной жизни и личных чувств даже в тех моих писаниях, где почти и следа нет их, и вообще многое навязавшие мне.

Прадед мой по отцу был богат. У деда была земля в Орловской губернии (в Елецком уезде), в Тамбовской и Воронежской, но, кажется, понемногу. Деда братья его обделили. Он был не совсем нормальный, «тронувшийся» человек. Наследство осталось от него не бог весть какое, отец же и того не пощадил. Беспечен и расточителен он был необыкновенно. А Крымская кампания, в которой он участвовал «охотником», как тогда выражались, и переезд в семидесятом году в Воронеж для воспитания детей, моих старших братьев Юлия и Евгения, способствовали нашему разорению особенно. В Воронеже-то и родился я. Там пошли первые три года моей жизни. (Очень слабо, но все-таки помню кое-что из того времени). Но расти в городе мне не пришлось. Страсть к клубу, к вину и картам заставила отца через три с половиной года возвратиться в Елецкий уезд, где он поселился на своем хуторе Бутырки. Тут, в глубочайшей полевой тишине, летом среди хлебов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной.

Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладевало им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев — он был очень вспыльчив — и того меньше. До тридцати лет, до похода в Крым, он не знал вкуса вина. Затем стал пить и пил временами ужасно, хотя не имел, кажется, ни одной типической черты алкоголика, совсем не пил иногда по несколько лет (я рожден как раз в один из таких светлых промежутков) и не соединял с этой страстью никаких других дурных страстей. Учился он недолго (в Орловской гимназии), ученья терпеть не мог, но читал все, что попадало под руку,

с большой охотой. Ум его, живой и образный, — он и говорил всегда удивительно энергичным и картинным языком, — не переносил логики, характер — порывистый, решительный, открытый и великодушный — преград. Все его существо было столь естественно и наивно пропитано ощущением своего барского происхождения, что я не представляю себе круга, в котором он смутился бы. Но даже его крепостные говорили, что «во всем свете нет проще и добрей» его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать. Постоянная охота, постоянная жизнь на воздухе помогли тому, что этот хороший, интересный и по натуре даровитый человек умер восьмидесяти лет легко и спокойно.

Мать ни в чем не походила на него, кроме разве доброты и здоровья, в силу которого она прожила тоже долго, несмотря на все горести своей жизни, на астму, изнурявшую ее в течение последних двадцати лет, и на тяжкий пост, который она, по своей горячей религиозности, возложила на себя и с редкой стойкостью переносила лет двадцать пять, вплоть до самой кончины. Отец ее тоже пил, но по-иному, культурнее, если можно так выразиться; послужив в военной службе, побывав за границей, пожив в Варшаве, он вообще выделялся среди помещиков, и воспитана была Людмила Александровна тоньше, чем Алексей Николаевич. Характер у нее был нежный, — что не исключало большой твердости при некоторых обстоятельствах, — самоотверженный, склонный к грустным предчувствиям, к слезам и печали. Преданность ее семье, детям, которых у нее было девять человек и из которых она пятерых потеряла, была изумительна, разлука с ними — невыносима. В пору же моего детства мои братья были вдали от нее, отец все отлучался в тамбовское имение, пропадал на охоте, жил не по средствам, и, значит, немало было и существенных поводов для ее слез.

Неизменная бодрость отца и вообще некоторые его черты стали действовать на меня, в противовес ее влиянию, и сказываться во мне наследственно лишь позднее. Редко, повторяю, и бывал он с нами. А «дворня» наша невелика была, с соседями и с родственниками мы в ту пору виделись мало, сверстников я не имел, — сестра Маша была еще совсем ребенок, — игрушек, развлечений и склонности к ним — тоже, впечатлителен был чрезвычайно. Все, помню, действовало на меня — новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневым садом на запад... Мать и дворовые любили рассказывать, — от них я много наслушался и песен, и рассказов, слышал, между прочим, «Аленький цветочек», «О трех старцах», — то, что потом читал, им же я обязан и первыми познаниями в языке, — нашем богатейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси.

Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами, а потом и с ними, и с моим воспитателем. Чуть не все свободное от учения время я, вплоть до поступления в гимназию, да и приезжая из гимназии на каникулы, провел в ближайших от Бутырок деревушках, у наших бывших крепостных и у однодворцев. Явились друзья, и порой я по целым дням стерег с ними в поле скотину... А воспитателем моим был престранный человек — сын предводителя дворянства, учившийся в Лазаревском институте восточных языков, одно время бывший преподавателем в Осташкове, Тамбове и Кирсанове, но затем спившийся, порвавший все связи родственные и общественные и превратившийся в скитальца по деревням и усадьбам. Он неожиданно привязался ко всем нам, а ко мне особенно, и этой привязанностью и своими бесконечными рассказами, — он немало нагляделся, бродя по свету, и был довольно начитан, владея тремя языками, — вызвал и во мне горячую любовь к себе. Он мгновенно выучил меня читать (по «Одиссее» Гомера), распаллял мое

воображение, рассказывая то о медвежьих оставшихся лесах, то о Дон-Кихоте, — и я положительно бредил рыцарством! — поминутно будил мою мысль своими оригинальными, порой даже не совсем понятными мне разговорами о жизни, о людях. Он играл на скрипке, рисовал акварелью, а с ним вместе иногда по целым дням не разгибался и я, до тошноты насасываясь с кисточки водой, смешанной с красками, и на всю жизнь запомнил то несказанное счастье, которое принес мне первый коробок этих красок: на мечте стать художником, на разглядывании неба, земли, освещения у меня было довольно долгое помешательство. Он писал стихи, — сатирические вирши на злобы дня, — и вот написал стихотворение и я, но совсем не злободневное, а о каких-то духах в горной долине, в лунную полночь. Мне было тогда лет восемь, но я до сих пор так ясно помню эту долину, точно вчера видел ее наяву. Вообще я много представлял себе тогда чрезвычайно живо и точно.

Учил меня мой воспитатель, однако, очень плохо, чему попало и как попало. Из языков он больше всего налегал почему-то на латынь, и немало тяжких дней провел я в зубрежке латинской грамматики.

Года за два до поступления в гимназию (поступил я туда на одиннадцатом году) я испытал еще одну страсть — к житиям святых, и начал поститься, молиться... Страсть эта, вначале сладостная, превратилась затем, благодаря смерти моей маленькой сестры Нади, в мучительную тоску, длившуюся целую зиму, в постоянную мысль о том, что за гробом. Излечила меня, помню, весна. Отзвуком этого осталось то упоение, с каким отдавался я иногда печали всенощных бдений в елецких церквях, куда водило нас, гимназистов, наше начальство, хотя вообще церковных служб я не любил. (Теперь люблю — в древних русских церквях и иноверческие, то есть католические, мусульманские, буддийские, — хотя никакой ортодоксальной веры не держусь).

Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные, — известно, что такое русская, да еще уездная гимназия, и что такое уездный русский город! Резок был и переход от совершенно свободной жизни, от забот матери к жизни в городе, к нелепым строгостям в гимназии и к тяжелому быту тех мещанских и купеческих домов, где мне пришлось жить нахлебником. Учился я сперва хорошо, воспринимал почти все легко, потом хуже: новая жизнь сделала то, что я стал хворать, таять, стал чрезмерно нервен, да еще на беду влюбился, а влюбленность моя в ту пору, как, впрочем, и позднее, в молодости, была хотя и чужда нечистых помыслов, но восторженная. Дело кончилось тем, что я вышел из гимназии.

Читал я в детстве мало и не скажу, чтобы уж так жаждал книг, но, вероятно, прочитал почти все, что было у нас в доме и что еще не пошло на сигарки тем приживальщикам, прежним слугам-друзьям отца, что иногда гостили у нас, и до сих пор еще помню, как читал я «Английских поэтов» Гербеля, «Робинзона», затасканный том «Живописного обозрения», кажется, за 1878 год, чью-то книгу с картинками под заглавием «Земля и люди» < ... > Суть того чувства, что вызывали во мне эти книги, и до сих пор жива во мне, но ее трудно выразить. Главное заключалось в том, что я видел то, что читал, — впоследствии даже слишком остро, — и это давало какое-то особое наслаждение.

В гимназии многое из того, что обычно читается в такие годы, мне совсем не нравилось. (Из того, что произвело на меня в первые гимназические годы особенно поэтическое и восторженное впечатление, вспоминается сейчас «Колокол» Андерсена). И стихов в гимназии я почти не писал, хотя до чужих был жаден и отличался способностью запоминать наизусть чуть не целую страницу даже гексаметра, только раз пробежав ее. (Память у меня вообще хорошая, — то, что интересуется, запоминаю крепко, — но насилия не терпит: убедился в этом еще в ранней молодости, когда, по гоголевской манере, пытался упражняться в наблюдательности.)

Зато необыкновенно много исписал я бумаги и прочел за те четыре года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках, в имении, перешедшем к нам от умершей

бабки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения все растущей молодости и сил. Тут как раз на целых три года выслали к нам брата Юлия, уже кончившего университет и пробывшего год в тюрьме по политическим делам, и он прошел со мной весь гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук; кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе. И помню, что в ту пору мне все казалось очаровательно: и люди, и природа, и старинный с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, каждый запах...

Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому, — больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке, потом, в силу потребности высказать уже кое-что свое, — чаще всего любовное, — труднее. Читал я тогда что попало: и старые и новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Маколея, и Шекспира, и Белинского < ... > Потом пришла настоящая любовь к Пушкину, но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Надсоном, чему, впрочем, много способствовала его смерть. Вообще о писателях я с детства, да и впоследствии довольно долго, мыслил как о существах высшего порядка. (Помню, как поразил меня рассказ моего воспитателя о Гоголе, — он однажды видел его, — вскоре после того, как я впервые прочел «Страшную месть», самый ритм которой всегда волновал меня необыкновенно.) Самому мне, кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, — благо лермонтовское Кропотово было в двадцати пяти верстах от нас, да и вообще чуть не все писатели родились поблизости, — и не от самомнения, а просто в силу какого-то ощущения, что иначе и быть не может. Но это не исключало страстного интереса вообще к писателям, даже к таким, каким был, например, некто Назаров. Озерский кабатчик как-то сказал мне, что в Ельце появился «автор». И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан. Из новых писателей мне очень нравился тогда Гаршин (самоубийство которого ужасно поразило меня). Нравился и Эртель, хоть я и тогда чувствовал его литературность, непростоту, копировку Тургенева, даже эту неприятную изысканность знаков препинания, обилие многоточий. В Чехове (его юмористических рассказов я тогда не знал) тоже кое-что задевало меня — то, что он писал бегло, жидко...

В апреле 1887 года я отправил в петербургский еженедельный журнал «Родина» стихотворение, которое и появилось в одном из майских номеров. Утра, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду. Писал и читал я в то лето особенно много, а чтобы ничто не мешало мне в этом и с целью «наблюдения таинственной ночной жизни», месяца на два прекратил ночной сон, спал только днем.

В сентябре 1888 года мои стихи появились в «Книжках Недели» (издаваемой П.А. Гайдебуровым), где часто печатались вещи Щедрина, Глеба Успенского, Л. Толстого, Полонского. Гайдебуров отнесся ко мне крайне внимательно и запретил сотрудничать в других изданиях, — взял меня под свое исключительное руководство.

Между тем благосостояние наше, по милости отца, снова ухудшалось. Брат Юлий переселился в Харьков. Весной 1889 года отправился туда и я и попал в кружки самых завязтых «радикалов», как выражались тогда, а пожив в Харькове, побывал и в Крыму, о котором у меня еще в детстве составилось самое поэтическое представление, благодаря рассказам отца, и нашел, что ходить верст по сорок в сутки, загорать от солнца и от морского ветра и быть очень легким от голода и молодости — превосходно. С осени стал работать при «Орловском вестнике», то бросая работу и уезжая в Озерки или Харьков, то опять возвращаясь к ней, и был всем, чем придется, — и корректором, и передовиком, и театральным критиком, что, к счастью, совсем не приставало ко мне. Тут опять сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь.

К более нормальной жизни, к более правильной работе литературной и образовательной я возвратился только через два года, переселившись в Полтаву, где брат Юлий заведовал статистическим бюро губернского земства. В Полтаве я был библиотекарем земской управы, затем тоже статистиком, много корреспондировал в газеты о земских делах; усердно учился, писал, ездил и ходил по Малороссии, — служба у меня была легкая и свободная, — затем, увлеченный толстовской проповедью, стал навещать «братьев», живших под Полтавой и в Сумском уезде, прилаживаться к бондарному ремеслу, торговать изданиями «Посредника». Но сам же Толстой, к которому я ездил с А.А. Волкенштейном, и созерцание которого произвело на меня истинно потрясающее впечатление, и отклонил меня опрощаться до конца. (Как к художнику я относился к нему и тогда уже с не меньшим восторгом. Но к этому времени относится и мое увлечение Флобером, а наряду с этим — «Словом о полку Игореве», малорусскими «думами», — теми, что наиболее величавы и торжественны, — некоторыми вещами Мицкевича, особенно его крымскими сонетами, балладами, страницами из «Пана Тадеуша»: ради Мицкевича я даже учился по-польски.)

За работой при «Орловском вестнике» я писал урывками, печатаясь в «Северном вестнике», «Наблюдателе» и иллюстрированных журналах, и издал первую книжку стихов, чисто юношеских, не в меру интимных. Первая рецензия на нее появилась в «Артисте» и заключала в себе странный упрек в подражании Фету и совет заняться лучше прозой. Остальные отзывы были весьма сочувственны. В Полтаве я впервые приступил более или менее серьезно к беллетристике, и первый же рассказ (без заглавия) послал в «Русское богатство», руководимое тогда Кривенко и Михайловским. Михайловский написал, что из меня выйдет «большой писатель», и рассказ под чьим-то заглавием — «Деревенский эскиз» — был напечатан в апреле 1894 года. В то же время редкое участие принял во мне А.М. Жемчужников, вступивший со мной в переписку и проводивший меня в «Вестник Европы»: сам Сталюкевич был чересчур строг и порой несправедлив. (Вот пустяк, но характерный. Было у меня стихотворение: «Ржи наливают в цвету». Сталюкевич изумился: «Кого наливают?» — и написал «наливаются». Жемчужников горячо вступился за меня.)

В январе 1895 года, бросив службу, я впервые попал в Петербург, видел некоторых писателей, Михайловского, Кривенко, который отнесся ко мне с истинно отеческой нежностью. В этом же году я познакомился в Москве с Чеховым, с Бальмонтом, с Эртелем, с Брюсовым, тогда еще студентом. Позднее я мельком видал Коневского и Добролюбова. Они произвели на меня впечатление больших мальчиков с полным сумбуром в голове и в душе, благодаря и болезненности своей и кое-чему прочитанному. Видал я и некоего поэта, славившегося тогда по Москве своей книжкой, посвященной «самому себе и египетской царице Клеопатре», и тем, что он ходил, как говорили, в папахе, в бурке, в нижнем белье, привязывал себе к пальцам когти и производил перевороты в стихотворной форме. Он, впрочем, раньше других бросил все эти «дерзания» и «переоценки ценностей» и, увы, не попал в историю «новой русской литературы», хотя именно ему долго приписывали многие все эти «закрой свои бледные ноги» и т. п.

В октябре 1895 года в «Новом слове», которое редактировал Кривенко, разошедшийся с «Русским богатством», а издавала О.Н. Попова, появился мой рассказ «На край света», встреченный очень хорошо (особенно Скабичевским, слову которого придавали тогда большой вес). Следующей осенью я с удовольствием согласился на предложение Поповой издать свои рассказы. Вышли они в свет (в январе 1897 г.) среди почти единодушных похвал. Но тут я внезапно надолго исчез из Петербурга, да не только исчез, а и замолчал на несколько лет. Два года затем я жил особенно скитальчески и разнообразно, — то в Орловской губернии, то в Малороссии, снова был в Крыму, бывал в Москве, все чаще встречался и со старыми и с молодыми писателями, посещал «Посредник», куда захаживал Толстой... Сам чуя свой рост и в силу многих душевных

переломов, уничтожал я тогда то небольшое, что писал прозой, беспощадно; из стихов кое-что (то, что было менее интимно, преимущественно картины природы) печатал; довольно много переводил — чужое было легче передавать.

С той поры собственно и начинается моя более или менее зрелая жизнь, сложная и внутренне и внешне и столь еще близкая мне, что говорить о ней подробно — задача долгая и трудная. Поэтому кончу эти беглые заметки еще более бегло.

В 1898 году я женился на А.Н. Цакни, гречанке, дочери известного революционера и эмигранта Н.П. Цакни. Женившись, года два прожил в Одессе (где сблизился с кружком южно-русских художников). Затем разошелся с женой и установил в своих скитаниях, уже не мешавших мне работать в известной мере правильно, некоторый порядок; зимой столицы и деревня, иногда поездка за границу, весной юг России, летом преимущественно деревня. За это время я был, между прочим, ближайшим участником известного литературного кружка «Среда», душой которого был Н.Д. Телешов, а постоянными посетителями — Горький, Андреев, Куприн и т. д. Революция, прокатившаяся над всеми нами, надолго рассеяла этот кружок. С 1907 года жизнь со мной делит В.Н. Муромцева. С этих пор жажда странствовать и работать овладела мною с особенной силой. За последние восемь лет я написал две трети всего изданного мною. Видел же за эти годы особенно много. Неизменно проводя лето в деревне, мы почти все остальное время отдали чужим краям. Я не раз бывал в Турции, по берегам Малой Азии, в Греции, Египте, вплоть до Нубии, странствовал по Сирии, Палестине, был в Ороне, Алжире, Константине, Тунисе и на окраинах Сахары, плывал на Цейлон, изъездил почти всю Европу, особенно Сицилию и Италию (где три последних зимы мы провели на Капри), был в некоторых городах Румынии, Сербии — и, говоря словами Боратынского, отовсюду — «к вам приходил, родные степи, моя начальная любовь» — и снова «по свету бродил и наблюдал людское племя...»

Что же до литературной моей деятельности за эти годы, то ход и развитие ее известны. В конце 1898 года вышел мой перевод «Песни о Гайавате», давший повод некоторым моим критикам, при их обычной поспешности суждений и любви (или необходимости), повторять друг друга, записать меня в число идилликов и каких-то «созерцателей». В 1900 году издал первую книгу моих стихов «Скорпион», с которым я, однако, не возымев никакой охоты играть с моими новыми сотоварищами в аргонавтов и демонов, в магов и нести высокопарный вздор, хотя некоторые критики уже заговорили было о моем «увлечении декадентами» и усердно цитировали мой сонет «В Альпах», мысль которого, в сущности, была совсем не нова, — подобно мысли того самого сонета Пушкина, где сказано: «услышишь шум глупца», — меж тем как другие одобряли меня за то, что я держусь каких-то «заветов», «традиций», хотя любить талант, самостоятельность, ум, вкус вовсе не значит держаться каких-то традиций. В 1902 году «Знание», ближайшим сотрудником которого я был после этого почти все время его деятельного существования, издало первый том моих сочинений. Какие книги следовали за этими тремя, говорить нет нужды. Известно также, что от Академии наук я получал Пушкинские премии, что в 1909 году я был избран ею в число почетных академиков, в 1912 году — почетным членом Общества любителей российской словесности, коего я состою теперь временным председателем, и т. д. Добавлю еще, что в текущем году книгоиздательство Маркса выпускает приложением к «Ниве» редактированное мною собрание моих сочинений, куда входит все, что я считаю более или менее достойное печати.

В общем, жизненный путь мой был довольно необычен, и о нем и вообще обо мне долго существовало довольно превратное представление. Взять хотя бы первое десятилетие моей литературной деятельности: большинство тех, что писали о моих первых книгах, не только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку, не только старались раз навсегда установить размеры моего дарования, не замечая, что им самим уже приходилось менять свои приговоры, но характеризовали и мою натуру.

И выходило так, что нет писателя более тишайшего («певец осени, грусти, дворянских гнезд» и т. п.) и человека, более определившегося и умиротворенного, чем я. А между тем человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности: напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда. Бросив через некоторое время прежние клички, некоторые из писавших обо мне обратились, как я уже говорил, к диаметрально противоположным — сперва «декадент», потом «парнасец», «холодный мастер», — в то время как прочие все еще твердили: «певец осени, изящное дарование, прекрасный русский язык, любовь к природе, любовь к человеку... есть что-то тургеневское, есть что-то чеховское» (хотя решительно ничего чеховского у меня никогда не было). Впрочем, в литературе стоял тогда невероятный шум.

А второе десятилетие моей литературной деятельности еще у всех в памяти. Тут отношение ко мне, как известно, изменилось, во внимании ко мне за это время недостатка не было. Отмечу только один факт, уже не раз, к сожалению, повторявшийся в русской литературе, — то, как некоторые отнеслись к моей «Деревне» и «Ночному разговору», к «Суходолу». На первых порах чего только, наряду с похвалами моему художеству, не наслушался я! Иные унижались даже до того, что говорили, что я был просто испуган революцией, как помещик (каковым на самом деле я отроду не был), корили меня моим происхождением, — точно я был первый и единственный «дворянин» в русской литературе, — уверяли, что я для деревни только «пришлый интеллигент», приплетали некстати мои «поездки в Индию», хотя поездки эти могли принести мне, конечно, только пользу, ибо справедливо сказал Шекспир, что «недалеко ушла от глупости домоседная мудрость». По шаблону, в угоду традициям и благодаря круглому незнанию жизни, некоторые неизменно прибавляли, говоря о моих произведениях, касавшихся русского народа: «А все-таки это не так», — и, никогда не приводя никаких доказательств, отделялись фразами о «искрах божьих», «отрадными» частностями, ссылками на Достоевского, Тютчева или Глеба Успенского и Чехова, хотя этих «искр» я никогда не отрицал, хотя не о частностях, а об общем, типическом говорил я, хотя Достоевский и Тютчев для меня ничуть не обязательны, хотя Успенского тоже упрекали в «хмуром и желчном пессимизме» и «полном незнании народа», хотя, укоряя меня Чеховым, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками его. Все это, конечно, в порядке вещей. Судьба «Горя от ума» всем известна. О «Мертвых душах» и о «Ревизоре» в один голос кричали: «Это клевета, это невозможность». Гончарову, по свидетельству А.Ф. Кони, «пришлось выслушать, что он совершенно не понимает и не знает русского народа». «Преступление и наказание» Достоевского называли (и не где-нибудь, а в «Современнике») «клеветой на молодое поколение», «дребеденью», «позорным измышлением», «произведением самым жалким»... А ведь теперь дела стали еще хуже: литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянах теперь городской интеллигент знает уже только по книжкам, о мужиках — по извозчикам и дворникам, о солдатах — только одно: «так что, ваше благородие», говорить с народом он не умеет, изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиня какой-то никогда не бывалый, утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются... Но все же не раз думал я: доколе же так вот и будет писаться история? Не ужасно ли, что, покрячав: «Это клевета, это невозможность», — мы всегда тем скорее успокаивались, что не проходило и нескольких лет, как то, что называлось «невозможностью», признавалось «классическим» и поступало уже в полное ведение учителей словесности?

За всем тем на критику серьезную жаловаться я и тогда не мог.